
Свидание
с Бонапартом

Роман

Светлой памяти моего отца

— Ой! — сказала Дуня. — Сперва они нас,
а после мы их... Так и побьем друг дружку?

Из романа

Минует печальное время —
Мы снова обнимем друг друга.

H. Кукольник

...А между тем погода стояла прекрасная.

Граф Федор Головкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Заметки из собственной жизни
генерал-майора в отставке Н. Опочинина,
бывшего командира Московского мушкетерского полка*

...Если Бонапарт будет идти так, а он будет идти так, то через три, от силы четыре недели достигнет порога моего дома. Когда он явится (а миновать Липенъки он не сможет), я буду кормить его обедом в большой зале. Предвкушаю сладость свидания! Вижу недоумевающее лицо гения, когда я, затянутый в парадный мундир, легким движением руки приглашу грозу Европы отведать деревенских яств. Гробовое молчание. Шорох одежд. Позывкивание железок. С верхней галереи звучит музыка.

Покуда будет длиться этот непродолжительный сытный обед, отечество, истекающее кровью, вздохнет что есть мочи, расправит могучие крылья, спохватится; генералы подавят отчаяние; воины крикнут «ура!», и все покатится в обратном направлении.

Пусть я злослов. Представлять бегущих, не успевающих на ходу креститься и на ходу же глубокомысленно рассуждающих о преимуществах поспешного бегства, — как же не злословить?

Лишь с Варварой я кроток и глуп.

Мне пятьдесят пять. Шутка ли? Я мог бы воротиться в свой старый полк и повести его на врага, но есть ли в этом смысл? Как подумаю, что окажусь на холодном биваке со своим геморроем, без теплого клозета, без укропной воды (три раза перед едой по столовой ложке), без припарок... Военной ночью пугать волков в овраге? Кряхтеть и плакать? Или шагать под полковым штандартом с грелкой, прикрученной к брюху? Или жевать редкими зубами интенданскую говядину вместо легкого супчика с рисом и разварной баранинкой? Князь Петр гостила у меня сутки, послушал все это и сказал:

— Какого командира лишается Россия! Да за тобой будет бегать Филимошка с супчиком и горячим самоваром!.. Ну имей с собой, наконец, воз корпии для примочек!

— Нет, — сказал я шутнику, — с меня довольно. Как вспомню пятый год, как шел представляться государю и принимал из его рук Георгия... какое унижение: командир полка, сжигаемый чем? Раной? О нет — острым приступом геморроя!.. Нет, нет, теперь пусть Милорадовичи да вы, Багратионы, исполняют свой долг. Вы молоды, вам и карты в руки.

Слава богу, он умный человек. Он рассмеялся, поводил длинным носом, но спорить не стал.

Кстати, я тоже положил себе за правило не спорить с людьми. С умным спорить нечего, ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей слепоты. А уж с глупцом или с невеждой и подавно: они всегда столь самоуверенны, что вы для них есть ноль. Спорить с ними — напрасная затея, хотя можно пугнуть. Нет, не пулей, не батогами (глупые бывают отменно храбры), а парадоксами. Например, он будет наскакивать на вас и утверждать, пуская пузыри, что ежели всех дворовых нарядить гусарами, то Бонапарт повернит обратно, или еще какуюнибудь бессмыслицу. Тут я ему и скажу: «Возможно, возможно... Кстати, есть отличное средство от геморроя...» Он остоубнеет, покроется потом и отойдет в раздумье.

Приятное занятие.

Или вот заехал ко мне толстяк Лобанов. Я его спросил, как он думает о Наполеоне, считает ли он его военным гением.

— Он враг, ваш Наполеоншка, — сказал Лобанов раздраженно, — вот и все.

— А ведь придет время, — сказал я ему назло, — и очень может быть, что ему памятник поставят...

— Вы, — крикнул он, — занимаетесь пустыми рассуждениями, когда враг у ворот!

— Да господь с вами, какие там ворота? Где вы видите ворота? Вон уж и Витебск пал... Вы что, мои ворота имеете в виду?

Я понимаю, что обидел толстяка. А ведь он, Титус, отставной майор, недавний лейб-grenadier и с меня ростом. А я его обидел. И черт с ним. Мне претит холодный патриотизм, похожий на нарисованный факел. Эти будут рубиться до последнего вздоха, но колеса не изобретут.

Кстати, один безумец изобрел карету, способную передвигаться с помощью пара. На том месте, где стоит мой форейтор, то есть на запятах, прикреплен железный котел, под которым

устроена железная же печь. Вы заливаете в котел воду, кидаете в печь поленья... Вода кипит, пар ищет выхода... С этой целью устроено отверстие, куда пар устремляется с силой, толкает что-то, а то в свою очередь толкает другое, и колеса начинают врететься, и карета движется!.. Конечно, время от времени нужно доливать воду, подбрасывать дрова, но ведь и лошадь нужно поить и кормить... В общем, забавно. Забавно и чрезвычайно глупо, если представить себе, что лошадей уморили, а заместо их приспособили этакие колымаги, и вот, представьте, я, генерал, выезжаю перед полком на этаком чудовище, шашку вон и... «За мной, братцы!..» Или, например, к Зимнему дворцу съезжаются гости, все уставлено паровыми каретами, дым и пар объяли все вокруг, трещат поленья, кучера в ожидании господ пилят дровя!.. И все-таки какая-то острота ума сквозит во всем этом.

Я люблю шарлатанов. Они незаурядны. Они даже гении, только их гений направлен не на созидание...

Князь Петр так легко примирился с моим отказом! Так любовно обнимал меня, прижал к сердцу, однако не возражал против моего отказа воротиться в полк... Обидно? Или он имел в виду мою деревянную ногу? Третьего дня я прошел семнадцать верст маршем. Так-то, петербургские красавцы!

Жизнь моя прошла, князь Петр. Я не в обиде... Остается не пожалеть усилий на последний обед. Таких обедов не знала Россия. Тимоша замирает, ровно барышня. Черноглаз, несдержан, насмешлив, но добр, ну вылитая его мамочка. Кого я еще так люблю на свете? Я и ее любил, его мамочку, красавицу, каких не бывает... Да вот Харон взмахнул веслом и Тимошу оставил сиротой, а меня лишил племянницы. Справедливо ли? Юноша в шестнадцать лет, рожденный для великих дел, единственный мой друг с мудрой книгой в неискусленных руках. «Скажи-ка, дядя, — говорит он мне, — чем можно обворожить красивую, неумную, холодную как камень, при виде которой я лишаюсь речи?» — «Это хорошо, Титус, — говорю ему, — если ты лишаешься речи. Хуже, Титус, ежели она лишится головы». — «Но почему же?» — притворяется он дурачком. «Меня, Титус, волнуют твои будущие раскаяния. Ты юноша совестливый...» И мы смеемся.

Барышня эта проклятая — это Арина из девичьей. Красивая, двадцатидвухлетняя, засидевшаяся, надменная... А ему-то шестнадцать! Да откуда эта надменность? Не от моих ли щедрот

и попустительств? Да и вообще, все они не из теплых рук Сонечки, Тимошиной мамочки, выпорхнули? Она им книжки читала!.. Да, но, во-первых, Титус, она для тебя стара, мой друг, она тебе не пара, я уж не говорю, во-вторых, что она из девичьей... Сомнительные предостережения. Будто бы мальчик намерен устроить с нею свою жизнь или что-то там иное, высокопарное... Если уж начистоту, она и со мной надменна.

Я все продумал. Мои люди лазутчиками разосланы по четырем уездам. Их легкие неузнаваемые тени колеблются среди губернских лесов, под мостами, на колокольнях и в толпах, бегущих прочь от нашествия, и в толпах, встречающих великую армию в молчании. Я не пожалел им ни лошадей, ни денег, и они, вымуштрованные у меня в людской, живописуют каждый шаг Бонапартовой армады. Да и мы здесь, в Липеньках, стараемся по мере сил не ударить лицом в грязь. И все музыканты моего оркестра, и все повара с моей кухни, и все лакеи, и всё, и все чистят перышки тревожными клювами и прихорашиваются. Я знаю моих людей, они верны и надежны. Соседи синеют от любопытства. Вся Россия осуждает меня!

Откуда в тебе эти неблагородные порывы, спрашиваю сам себя и сам себе отвечаю: разве? Это ли не благородство — приветить усталых гениев, преклоняясь перед их батальным искусством, ввести соперников в свой дом, щутить на их родном языке, не пожалеть всех свечей и в ярком их свете глядеть прославленным врагам в глаза и видеть, как они недоумеваются при виде сего загадочного карнавала? Это ли не благородство — усадить великого учителя на самое почетное место и изысканным жестом пригласить и остальных занять подобающие их славе места? И лучшая музыка, лучшие блюда и все последние сорок бутылок «Клико» с привкусом их собственной обезумевшей страны! Это ли не благородство — сдерживая дрожь в пальцах, чтобы не расплескать божественного напитка, выдавить из себя в наступившей тишине слова признания за восхитительные уроки? Эта честь, как никому другому, принадлежит мне, ибо деревянная нога дана мне вместо живой и настоящей, потерянной мною в честном бою под Сокольницким замком на льду Зачанского пруда, когда мы бежали, запоминая, запоминая и восхищаясь, топча чужие пространства... Что же до остального, то это уже вне

моей воли. Тут некие высшие загадочные силы владеют мной и определяют мои поступки.

Арина оденется в господское. Пусть украшает стол.

Когда первая мысль об этом обеде блеснула в моей голове и я высказал ее, смеясь и кривляясь, никто не осудил меня, воскликнув: «Как же, будет император Франции сидеть за вашим овальным столом!» А почему бы, черт подери, ему и не посидеть? Почему, если наш российский император мог как ни в чем не было ночевать на соломе в простой крестьянской избе на берегу изумрудного Гольдбаха?

Отступление после Аустерлица было не менее драматично, чем и всякие боевые неувязки перед тем. Хотя, Бог свидетель, мы были неплохими учениками. Император Александр находился при четвертой колонне до самого ее поражения. Когда войско побежало, он с трудом перебрался через болотистый ручей. На смертельно бледном его лице лежала печать тяжкой грусти. Во мрак кромешный тянулась наша армия под проливным дождем. В полночь император достиг селения Годъежиц. Оно было переполнено, как это и водится, ранеными, обозами и бродягами. Он искал Кутузова, посыпал за ним кого только можно было, и только Чернышеву удалось отыскать командующего. Не успели император и Кутузов переговорить, как выяснилось, что надо срочно покидать Годъежиц. А где коляска? Искали императорскую коляску, да не нашли. Пришлось императору отправиться в Чейч верхом. Однако, не проехав и семи верст, почувствовал себя совсем дурно. Хворь, привязавшаяся накануне, усилилась. Конечно, тут все навалилось одно к другому: и поражение, и дурная погода, и неопределенность. В это время и подвернулась деревенька Уржиц. В пустой крестьянской избе ничего не было, кроме вороха соломы. Делать было нечего, императора уложили на этот ворох, и он был почти что счастлив, если бы не болезнь и смятение. Тогда дали ему ромашки и тридцать капель опиума. И он уснул. Затем начались бивачные фантасмагории. Лейб-медик Виллие распорядился достать бутылку хорошего вина, чтобы, едва император проснется, дать ему отхлебнуть для подкрепления сил. Что же делать? Лазили по колено в грязи по всему Уржицу — ни вина, ни черта, ни дьявола. И вдруг, уже в полном отчаяния, натыкаются на дом местного священника, грохочут в дверь чем только можно, выскаки-

вают люди в австрийской форме, и выясняется, что в доме остановился сам император Франц — такой же беглец. Ах, раз так, то тем более: ваш разгромленный монарх — нашему разгромленному монарху, союзнику одну бутылочку для восстановления утраченных сил... Заспанный обер-гофмаршал Ламберти категорически отказал, ибо у него самого почти не осталось вина для подкрепления сил австрийского императора. Слава богу, подвернулся венгерский офицер, отбившийся от своего войска, который, узнав о нашей нужде, с охотою продал бутылку драгоценного вина. И уже на следующий день оправившийся Александр Павлович въехал в Чейч...

Въехал в Чейч... Нынче, пожалуй, некогда предаваться воспоминаниям. «Скажи-ка, дядя, — говорит Тимоша, — ты очень огорчен, что не можешь сразиться с Бонапартом?» — «Что ты, Титус, что ты... Я был Наполеона под Диренштейном, он был меня под Тельницем, я преследовал его у Блазовица, а затем бежал от него в обратном направлении. Где-то там оставлена моя нога, и женщина, которую я любил, отвергла меня — ей не нужен был герой на деревянной ноге...» Так я говорю Тимоше, смешно выпячивая грудь и маршируя по старому скрипучему паркету. Все бренно. «А не отворотилась ли она от тебя, дядя, — говорит Тимоша безжалостно, — потому, что ты бежал в обратном направлении от Блазовица?» — «Да я бы наплевал, друг мой, на эту ногу и на эту даму, — говорю я, — но жизнь, как выяснилось в процессе моего бегства, слишком коротка, чтобы можно было с легким сердцем презирать утраты». — «А меня ты благословляешь идти в полк?» — спрашивает он выжидательно. «Если задуманный мною обед пройдет удачно, надобность в твоей службе отпадет», — смеюсь я, и он краснеет. «Почему же?!» — почти кричит он, в который раз недоумевая. «Не спрашивай, друг мой! — кричу я. — Есть вещи, о которых не говорят!» — «Ах, дядя, — говорит он тихо, — злодей ты или насмешник?»

Какие у него при этом большие черные глаза, переполненные опочининской тоской! И какие у него при этом насмешливые губы. Я вижу себя молодым. У нас, у Опочининых, в душах всегда бушевало два потока, причудливо слияваясь в конце концов: здравый смысл и сумасбродство, или как там еще?.. Вооруженные здравым смыслом, мы старателльно и благонравно исполняли обременительные прихоти природы, покуда не становились

отвратительными самим себе и черные наши глаза переполнялись тоской, пугая окружающих.

Сонечка любила майора Игнатьева без памяти. Оба были молоды и прекрасны. И я его любил. Это был молчаливый, задумчивый гигант. Сонечку носил на руках. Она его боготворила. Натурально, злословие шло за ними по пятам. Мужчины злословили, потому что не им досталась эта обворожительная молодая дама, женщины — потому что они обычно впадают в сильное расстройство чувств при виде успехов своих соплеменниц. Маленький Тимоша украшал эту пару. Погода была восхитительна. В каждом письме Сонечка писала мне, что и дня разлуки со своим мужем не выдержит. Он мне говорил срывающимся шепотом, что это Бог соединил их в самом деле и в истории не было тесней союза, ну, может быть, там какие-нибудь Ромео и Джульетта, так ведь они придуманные. В один прекрасный день она явилась под мой кров с восьмилетним Тимошей. Объяснить ничего не могла. В черных глазах стояла знакомая тоска. Губы насмешливо дрожали. «Ну успокойся, Сонечка, — сказал я, — ежели он чист перед тобой и ты чиста перед ним, значит все будет хорошо. Это молодость в тебе забушевала...» — «Ничего себе молодость, — сказала она, — опомнись, дядя, мне двадцать шесть, я уже старуха!» Игнатьев сходил с ума. Она потихонечку сохла, но ни в какую... «Да я счастлива, счастлива, — смеялась она, — отцепись от меня, я счастлива, что достало сил... Тебе не понять...» Через год Бонапарт наградил меня деревянной ногой, а Игнатьева в тот же день — вечным покоем. Сонечка сохла, сохла, и мы с Тимошой остались вдвоем.

Скажите пожалуйста, какая загадочная история! Что там в ней, в Сонечке, бушевало, сушило ее, бегущую с черноглазым сыночком по российским равнинам? Мои любезные соседи теряли покой, доискиваясь причин... Дурачье из глухомани! Кто мог раскрыть им эти причины, когда мне и самому не удалось оживить огня, хоть я и сжимал в руках угасающую свечечку. Кинулся я было по следам в ту недавнюю пору, когда Сонечка была еще сильна и счастлива и любила, начал распутывать эту ускользающую серую ниточку ее жизни. Распутывал, распутывал, хромал, хромал, дохромал до момента, как она метнулась прочь от покоя, от благоустроенности, и все затерялось в дымке. Одна неясность. Помню только полные тоски глаза ее по-

кинутого майора, и это словно картина, висящая передо мной: утренний туман, он на коне, лицо неживое, пепельное (мы все из пепла...), его батальон тает в тумане, австрийская мельница отрывается от земли, подобно журавлю, незримая, меж нами хлопчет Сонечка. «Тимоша прислал мне картинку, — говорит майор Игнатьев отрешенно, — заяц, похожий на собаку...» И он скакет за батальоном мимо улетающей мельницы, гордо покачивая султаном, а я знаю, что он плачет.

Так я и не распутал этого узелка, как не распутал и другого, того, давнего, завязанного Сашей Опочининым, отцом Сонечки, ибо мой старший брат канул в Лету, покинув наиблагополучнейшее свое гнездо как был, в неизменном шелковом стеганом халате, не иссущенный долгами, не в преддверии разорения, а просто выстрелил из пистолета себе в улыбающееся круглое лицо.

Я примчался из Липенек, гнал, почти не останавливаясь, не верилось.

Сонечка приехала из своего молодого дома, из-под Боровска, отдать последний поклон несчастному отцу. Она стояла рядом со мной, измученная дорогой, с искаженным лицом, и потрескавшимися губами шептала молитвы. Тимоша созревал в ее лоне, вот-вот ей разрешиться от бремени, а тут такое несчастье! По завещанию Сашину имение переходило к ней, но ее это будто и не касалось. Я взял дела в свои руки.

В то время я был еще о двух ногах, и голова была посвежей, и сердце жестче. Не рыдал, не воздевал рук к небу. Умылся холодной водой, вышел на крыльце его бывшего дома. Бывшая дворня сбежалась поглядеть на грозного генерала (неужто я казался грозным?). «Вы все теперь свободны, — сказал я, — покойный мой брат в завещании всем вам вольную дал... Молитесь за него...» Они заплакали. Душа Сашина, я уверен, витала над нами, не в силах расстаться. Я повернулся и пошел в пустой дом, а плач следовал за мною. К Богу ли они взывали, к природе ли, брата ли моего оплакивали, себя ли самих, беспомощное человечье стадо, выгнанное за ворота, в просторы? Уже разошлись они, вечер наступил, а стенания их все не затихали, отражаясь от зеркал, затянутых черным крепом, расплескиваясь меж книжных полок... Вот вам и книги! Что дают они нам, кроме неясного томления, кроме страдания, кроме ожесточенного несогласия с окру-

жающим миром? Покуда он собирал их, гладил их корешки, вчитывался в туманные призывы, они опутывали его душу слабостью и недоумением, вливали в него чужую боль и чужие обиды; они утончали руки и завораживали кровь. Добро в них торжествовало над злом, Бог — над дьяволом; голос правды и сладостная дружба исходили от их страниц, и Саша погружался в это и, трясясь от страсти, шуршал страницами, словно мышь в сухарях. «О! — восклицал он шепотом. — О!»

Я любил барабан, дождь на биваке, запах солдатского стада, водку с моченым горохом и ужас на лице врага. «Да чем же он враг?» — лениво щурился Саша. «А всем, — говорил я, — когда ты видишь его искаженное злой лицо и слышишь его тара-барщину...»

В богатом экипаже, исполненном по его фантазии, он отправился в Европу, задернув на окнах плотные занавески, покуда не скрылась с глаз Варшава. Я вышагивал марши по итальянским склонам, покрикивая на солдат, а он медленно и любовно ел голландские сыры, запивая светлым пивом в Динкельсбюле, горным воздухом в Тироле; сдабривал все это беседами с философами, и его улыбающееся круглое лицо маячило там и сям на европейских пространствах, вызывая восторженное недоумение умытой толпы. Он ездил, тоскуя по России, по своим книгам в своей Ярославской, и все это, чтобы, воротившись, пройтись по скотному двору, затыкая нос кружевным платочком. «Так ведь скотный двор — он и есть скотный двор, — наставлял я блудного сына. — Или в Голландии скотных дворов не бывает?» — «Да вони-то нет, Николаша», — говорил он. Будто коровы голландские не пекли своих блинов, а прусские тяжеловозы не усыпали шарами конюшен, попекивая от усердия. «Да вони-то нет, Николаша...» Впрочем, когда я вышагивал по Европе, я слышал лишь запах пороха.

Шелест книжных страниц казался ему шелестом ангельских крыльев, но ангелы разжигали в нем тосклиевые страсти и напрасные фантазии, по прихоти которых кудрявились кусты роз в громадном парке и возникали китайские домики, в которых не звучали человеческие голоса, витиеватые мостики над прудом уныло поскрипывали и бесполезные гондолы догнивали в прибрежных лилиях, а по дорожкам, усыпанным золотым песком, испуганно топтались дворовые, наряженные его капризом в чис-

тые рубахи, и украдкой сморкались в кружевные рукава. Господи, это при его уме и добром-то сердце! А он читал свои книги, с самим собой делясь и одиноко вздрагивая, словно каждая страница была ему укором, выглядел в окно, обозревал знакомые пространства и плакал...

И я глядел в эти окна, надеясь влезть в его шкуру варяжского отпрыска, скорбящего при виде унылых рож истинных вятчей, топчущих золотые дорожки. Затем я садился за его письменный стол и перечитывал его завещание, написанное послушным пером.

«...Все окружающее меня в России вызывает ужас и боль. Эта боль привела меня к сему решению. Только книги — мои милые друзья — поддерживали во мне напрасное пламя, но нынче и они бессильны.

Прошу покорно моих наследников отпустить крестьян моих на волю, а книги предать огню, ибо в здешних краях они никому не надобны...»

Так он писал, и я должен был утешить покойного брата. Я предал огню его лукавых друзей, но, Бог свидетель, не вынес их стонов. До сих пор не могу понять, почему я одни из них с ожесточением швырял в жадное пламя, а другие утаивал от него. Спасенные от гибели молчали... И вот я наконец покинул сей скорбный уголок, и за мной потянулись по ухабам возы, груженные уцелевшими виновниками (так я считал) гибели старшего Опочинина. Молчаливые, затаившиеся, все в благородных одеждах, гордые собственной правдивостью разрушители покоя, они вошли в мой дом и тихо разместились вокруг, заманчиво посверкивая корешками, покуда к ним не протянулась тонкая цепкая загадочная ручка Тимоши.

Так погибали Опочинины, вызывая у соплеменников не жалость, а лишь подозрение и ужас...

Впрочем, что это все нынче в сравнении с кровавой прогулкой, затеянной Бонапартом?..

Корсиканский гений шагает по августовской России, не разуваясь, не снимая треуголки, в напрасном ожидании битвы. На фоне пылающего Смоленска, издалека видная, колеблется его громадная тень. Император Александр нервничает в Петербурге, поджимая обиженные губы и негодяя на своих полководцев. Горячий Багратион интригует против осторожного Барклая, Ти-

моша бьет по щекам липеньского старосту, распорядившегося высечь мужика перед лицом гибели отечества. Я приготовляю нечто в надежде разом облагородить искаженный лик истории. Главное заключается в том, чтобы ни одна душа не заподозрила моих истинных намерений. Туманные опочининские страсти не по мне, хотя кто знает, чья властная рука ведет меня и направляет, чей голос, подобный музыке, возбуждает мне сердце?

Мой бедный брат, отчаявшийся и не увидевший вокруг ни одного виновника, кроме себя самого!

Когда обед достигнет апофеоза и все слова будут сказаны, я совершу предназначеннное, подожгу фитиль, а сам затрясусь в бричке по калужским ухабам. Счастливая судьба...

А ежели оставить бричку гнить на том самом месте, а самому — с гостями?.. Это же не больно — больно живым.

И вот белые губы молвы разносят, что лазутчики Багратиона спасли Россию в тот самый момент, когда старый безумец Опоччинин почтевал Бонапарта обедом и расточал хвалу французам!

Князь Петр решит, что это лазутчики Барклай, Барклай же припишет всё ловкости Дохтурова, Бенигсен доложит государю и присовокупит, что это выглядит как кара Господня, ибо старый безумец Опоччинин в этот момент кормил и поил узурпаторов и расточал им дифирамбы...

Чем больше размышляешь об сем предмете, тем больше лазек открывается для тебя... Так ведь жить хочется... А хочется ли?

Возы с крестьянским добром уходят в мою Рязанскую, и люди уходят следом. Когда закончится обед, почти все дворовые в моих экипажах будут за пределами губернии. Представляю себе, как будут выглядеть мои дрезденские дормезы, набитые девками, мои калужские брички, переполненные поварами и стряпухами, мои эдинбургские коляски на мягком ходу, с кучерами в господских цилиндрах!.. Лакеи же останутся со мной. Я сам причащу и приуготовлю их к райским радостям, ибо ливрейные фраки на них — это лишь так, оболочка, а суть их — солдатская, жертвенная. О, как я боюсь совершить что-нибудь такое, что могло бы помешать исполнению моего замысла. Трепещу, ужасаюсь, холдею при одной только мысли, что неловкий шаг, не вовремя сказанное слово все переворотят и все, все, все пойдет наスマрку.

А я?.. Прошагал семнадцать верст, чтобы взглянуть на Варвару и еще раз ожечься о холодное синее пламя ее глаз. «Куда ты все ходишь, дядя?» — спрашивает Тимоша. «Видишь ли, друг мой...» — и несу всякую околесицу... Жить хочется, мучиться...

Гибель зла — разве она не есть спасение добра? Все, что есть в этом доме, должно служить этой идеи. Музыка, свет, слова, стenания, и проклятия, и восторженные словословия, и молитвы благодарности, и лицезрение Страшного суда — все должно слиться в единую страстную бурю, которая исцелит род людской от счастливой слепоты, от наслаждения страданием, ибо не это истинный его удел. Не убийство, не гордую месть, а спасение — вот что вижу я и к чему стремлюсь. И тут я, может быть, поднимаю руку на высшие силы, замахиваюсь на само Провидение... Но представьте себе, что откроется нам, когда опадет пепел и птицы запоют вновь.

Я вдоволь пострелял на своем веку и вдоволь поблаженствовал, слыша победные трубы, и я вдоволь позадыхался, спасаясь бегством от преследователей, и наплакался при виде хладных тел, вчера еще живых, но и вдоволь позлословил над плачущими. И всякий раз я казался себе самому и правым, и справедливым, и столь же несчастным... А нынче один пронзительный вскрик божественного шалюмо, и тотчас в зеркале передо мною — хромое чудовище ростом под потолок, с благородным круглым мужественным лицом, истоптавшее на своем веку столько чужих земель! О, чужие земли, я топтал их с солдатским тщанием, и синие глаза императрицы Екатерины, и серые императора Павла Петровича, и голубые ныне здравствующего Александра с благосклонностью отмечали мое усердие сквозь пороховые туманы... Се милое отечество благодарит меня...

«А знаешь, дядя, — говорит Тимоша, — я ускаку в Москву, не дожидаясь, покуда Бонапарт похвалит тебя за разварную стерлядь». — «Не торопись, Титус, презирать меня за старческие капризы, — говорю я, — я еще не настолько стар, чтобы не уметь наслаждаться хорошим обедом и видом довольных гостей, но и не настолько уж молод, чтобы не испытывать боли, озираясь на собственную былую слепоту. Знаешь, Титус, там, в одной из чужих земель, сгибаясь под лаврами победителя, я влюбился в одну молодую особу. Она была дочерью плененного нами бри-

гадира, но это не настраивало ее и ее окружающих на укоризны по отношению ко мне. Война, друг мой. Я поселился в их доме и ежедневно был зван к столу. Кормили меня превосходно. Со дня на день воздух в доме теплел. Я рассказывал о России, о Липенъиках, они всплескивали руками, и наконец в один прекрасный день я намекнул ей, глупо улыбаясь, что она могла бы стать в недалеком будущем хозяйкой моего дома. (Тогда еще не было Варвары.) Она, представь себе, была столь хороша собой, что это ее не удивило, видимо, достаточное количество отменных прощелыг уже пощелкало пред нею напрасными шпорами, и даже один поэт был среди них, что мне известно. И вот, когда мы стояли над замершим прудом, где лилии гордо выставили белые свои головки, и я, трепеща от сладкого предчувствия, простирил к ней молодые генеральские ладони, она спросила меня, не опуская глаз, совсем еще юная, благовоспитанная, пахнущая булочками с изюмом. „На каком же языке, — спросила она, — я буду изъясняться с вашими рабами, герр Опочинин?“ Я оторопел, Титус, смешался — так это было сказано просто и по-деловому.. Ах уж эта прусская черствость, подумал я тогда с тоской... На каком языке... на каком языке... Да покажи ему кулак, и он перекувыркнется от усердия. „Ну, на первых порах жестами, — выдавил я, — жесты они поймут, а уж потом...“ Она улыбнулась очень дружелюбно и немного снисходительно и позволила мне, как мальчику, руку у ней поцеловать... Уже впоследствии я вспоминал ее лицо и это „изъясняться с вашими рабами...“. Да это же не рабы, дура, это мои люди, мои! Я вырос среди них, я вхожу в людскую, мне все знакомо: их запахи, их шутки, как они руку мою хватают для поцелуя, как они песни поют, как мы ходим по грибы, по ягоды... Семья! Это у вас, у прусских дураков, каждый сам по себе, а мы вместе спокон веку!

Вот что бушевало во мне тогда. Я был унижен.

Представляешь, Титус, когда я вернулся, и первый нестройный хор в мою честь отгремел, и я взглянул в их чужие лица... „А одна ли у нас кровь?“ — подумал я, и пробитое пулей лицо Саши Опочинина возникло передо мною... И та прусская красотка не казалась уже дурой...»

Титус при этом краснеет, как Сонечка, мамочка его, краснела.

...Музыка, свет, слова, ароматы...

*Список главных инструментов моего оркестра,
которым надлежит наиторжественнейшим образом
выразить всю мою боль, мое восхищение, ужас и гордость
по случаю пребывания в моем доме гениев войны*

1. Два шалюмо из грубой груши, в которых заключена хрупкая детская душа. Они отполированы не мастерами, а шершавыми ладонями альпийских пастухов. Эти старинные гости были найдены мною в доме, разрушенном нашей артиллерией. В темном углу, припорощенные известковой пылью, они лежали молча, прижавшись друг к другу, уже без надежды на спасение. Я привез их в Липеньки, передал Федьке, и Федька вернул их к жизни, и однажды они зазвучали. Трудно передать, что заключено в их тихом стоне. Они как две сестры, но у одной голосок чуть потоньше. Кротость и умиротворение бесхитростные, как голоса неведомых птиц, которые могут лишь сниться. Ухо, привыкшее к грохоту побоища, должно насторожиться, душа — обмякнуть, грубые руки безвольно повиснуть вдоль тела. О шалюмо, ты божество само!..

2. Охотничий рог (waldhorn) — медная улитка, доведенная до совершенства безвестными мастерами. От первоначальных форм остался лишь силуэт. Улитка скручивалась, скручивалась, возбуждаемая предчувствием гона, и из медного горла выкрикивала хриплые призывы и пожелания счастливой охоты. Гордая дичь платила и платит кровью за наслаждение этою музыкою, как платим и мы, когда за нами идет охота, как наслаждаемся, сами охотясь за врагом. Полагаю, что звуки сего инструмента более чем уместны среди прочих звуков в оркестре, предназначенном для придуманных мною торжеств. О охота, охота от чистого сердца, от щедрой души, истомленной сомнением в собственной праведности!

3. Барабан — самый старинный из инструментов. Кожа трехгодовалого быка, а еще лучше буйвола, натянутая на липовую колоду, приобретает загадочные свойства: под ударами колотушки она оживает и произносит то глухое «ах!», будто душа, подвергнутая страданию, а то звонкое «баммм!», приглашающее вас к движению в распахнутые врата. Когда же в руках барабанщика просыпаются кленовые палочки, тогда рассыпается гороховая дробь, знаменующая либо начало атаки, либо казни, либо

счастливой пляски. Да вот в чем штука: свойство этой дроби таково, что если она к пляске, то пляска кажется вечной, если к атаке, то атака — успешной, а уж ежели к плахе, то к неотвратимой. Искусство барабанщика в том и состоит, чтобы понять, как ударить дробь, к чему она более всего ныне надобна...

...Аришу возьму с собой в бричку. Накину ей на гордые плечи Сонечкину шубку, чтобы унять лихорадку ужаса... и покачим... Значит, ничтожный старикашко ковыляет к бричке, обливаясь потом, злодей, а за ним безгласная Ариша, словно тень убийцы, в господской шубке на плечах?.. Значит, я крадусь, как вор, в надежде услыхать тот фейерверк отменный... Ах, генерал, какой нелепый вздор рождается в твоей башке военной!..

Однажды в моем доме возникла незнакомая фигура. Я остановился. Спрашиваю: «Ты кто?» Говорит почтительно: «Андрей Лыков». Я расхохотался, глядя на его лакейские доспехи. «Ты лакей?» — «Так точно, ваше превосходительство, — говорит он, — лакей». — «А ты говоришь — Лыков, — смеюсь я, чтобы он не очень робел, — лакей, а ты говоришь — Лыков...» — «Так точно, лакей», — говорит он и сам смеется. Дорогой Титус, с тех пор я его иначе не называю, как Лыковым. Другим говорю: «Ванька, подай, Сенька, ступай». А ему: «Лыков, поди сюда, принеси то, зажги огонь, Лыков!» И он зажигает, и движется как лакей, и смотрит по-лакейски, и я не вижу в его взгляде тоски по Бонапартовым посланам о воле. Конечно, Бонапарт — гений. Он гений войны и политики. Устоит ли Лыков?

4. Литавры делаются из американской меди. Эта красная медь с голубоватым отливом хороша для восклицаний. Однако нельзя не упомянуть телячьей, а еще лучше ослиной кожи, хорошо выделанной, туго натянутой на медный котел. Звучит редко, да метко. Особенно в апофеозе. Мы медленно живем и незаметно, покуда не накапливается в нас постепенно сухой, огнеопасный порох прожитых дней, чтобы внезапно всплеснуться синим пламенем и грязнуть и возвестить, что вот оно наконец свершилось то, ради чего все и накапливалось. В сей момент литавры незаменимы, как, впрочем, и тогда, когда необъяснимая тревога задолго до родимого порога вдруг вспыхнет, как апрельская вода... Да что же с нами будет, господа?..

5. Флейта-пикколо. Когда внезапно обрывается густое и плавное течение звуков в оркестре, тогда в паузе возникает ее свист, холодный, упрямый, презрительный, резкий и столь требовательный, что люди кидаются друг к другу, но не за теплом, не с любовью, а чтобы, соблюдая строй, фрунт и ранжир, маршировать, выставив хищные подбородки и заострив жестокие лица, стараясь быть похожими один на другого... Странно, маленькая палочка из черешневой ветки, прижавшись к бледным сухим губам флейтиста, превращает нас, теплых, ленивых, сентиментальных, в аккуратные шеренги бездумных чертей, марширующих на железных ногах к ранней погибели, к напрасной славе, к поздним сожалениям. Под сей свист не спляшешь, не поплачешь о близнем, не улыбнешься любимой женщине.

Дорогой Титус, когда ты прочтешь эти бестолковые записки, меня уже не будет рядом с тобой. Но ты вспомни меня и пойми. И это, наверное, согреет меня *там*. Когда я дохромаю до святых врат, кто знает, как меня встретят. Я бы лично ни пред кем, кроме Сонечки, их не распахнул. Всю жизнь грешим, грешим, наперед зная, что придет час и отступим лбом прощение. Как это нехорошо! Все притворщики и лицемеры — живые, двуногие, любимые мною мои братья.

6. Иное дело полная флейта. Тоже ведь из выдержанной черешни или из гренадиллового дерева, тоже на клею из оленых рогов, а подите ж, какое наслаждение, какое опьянение, какая густая чистая кровь! Прислушайся, корсиканец, вслушайся, поникни целом. Ежели литавры в твою честь, то флейты глас — в мучительное раскаяние.

Кстати, Титус, мамочка твоя не просто отказалась от отцовского наследства, а продала это проклятое ярославское с облегченным вздохом со всеми трудами — скорей, скорей, за гроши — кому-то петербургскому выскочке в зеленом фраке с низкой талией и светлых панталонах, каких еще не то что не носили, а и видели-то впервые. Выскочка по фамилии Пряхин был полноват, хохотун с блеклыми северными глазами, потирая ручки, велел выдать дворовым, пожелавшим остаться, по чарке, девок

хлопал по заду и хохотал, хохотал и сам выпил предостаточно. Пряхин...

Так как я занимался всем этим, мне пришлось переночевать в последний раз в чужом теперь доме, а утром, уже сев в бричку, увидел, как с крыльца кинулся ко мне новый владелец. Будто и не пил, был свеж, благоуханен, но грустен, даже мрачен. Какая перемена!

Он сказал медленно, с расстановкой, без вчерашних улыбок:

— Весьма сочувствую вам и понимаю. Вчерашний карнавал — непроизвольная дань легкому безумию, которому меня подвергли обстоятельства. Покорнейше прошу простить меня...

Мы распрощались дружески, тем более что он успел познакомить меня со своими невероятными обстоятельствами, что вызвало во мне к нему даже симпатию.

Представь себе безвестного обедневшего дворянина, у которого, как это всегда бывает, множество детей и больная жена. Связей нет. Служба не получилась. Господский дом — изба. Две лошади, коровенка да три человека в собственности. Родственников никого, кроме бездетной тетки, родной сестры его матери, тоже из рода Киселевых. Тетка богата, живет в собственном доме в Петербурге, племянника знать не желает. А он гордый. Сам свою землю пашет, сам сеет, сам убирает... И вот уже приближается старость, а средств нет, и детей пристроить не удается. В один прекрасный день умирает суровая тетка, и из завещания выясняется, что он стал обладателем двухсот тысяч! Почему так получилось, понять не мог и немного обезумел. Слава богу, что был он не мот, цену деньгам знал и на пустяки не потратил. До меня доходили слухи, что он процветает. Дай ему бог всяческих удач. Пряхин...

7. Гобой из станинного шалмая или из восточной зурны. Облагорожен веками, склеен из тукового дерева с двумя тростниково-выми чуткими язычками. В нем заключена камышовая трость, проходя сквозь которую воздух приобретает силу и выразительность. Одинокий гобой — не воин, звук этого одиночки даже не-приятен. Гобои хороши в компании себе подобных, в хоре соратников. Тогда их вскрик пронзает сердце счастливой болью, и мысли, одна другой слаще, посещают вас, хотя какая-то безна-

дежность все-таки горчит в этой сладости и усугубляет необъяснимое беспокойство.

8. Фагот длинен, как посох странника, и изогнут, подобно курительной трубке. Звук низкий, непререкаемый, по-стариковски гнусоватый. О чём он бормочет, сказать трудно. Неудовольствие и даже отвращение слышится в нем. Он все прошёл и все повидал. Крикуны, которыми он окружён в оркестре, пока еще переполненные самодовольством, раздражают его и унижают. Он знает, что все завершается: империи гибнут, благородные порывы угасают, ослепительные надежды превращаются в фарс, великие замыслы — в кучу навоза; от царей остаются гробницы, победителя ждёт возмездие... Пусть гении побед, восседающие за моим столом, услышат этот звук, и пусть бледность покроет их закаленные лица...

Толстяк Лобанов, мой сосед, явился под вечер с выпученными глазами.

— Я знаю, что вы преклоняетесь перед Бонапартом, — сказал он, задыхаясь, — он для вас гений и прочая чертовщина... Для меня же он враг, узурпатор, возмутитель наших устоев. Он топчет нашу святую землю и сеет смерть... и бунт!

— Позвольте, сударь вы мой, — сказал я, не желая с ним единоборствовать, — война протекает в соответствии с достижениями в батальном искусстве. Взятие Смоленска — совершенство...

— А мне-то что за дело до военных совершенств! — крикнул он, и заплакал, и смуглым кулаком смахнул слезу. — Он посулил моим людям вольную, они открыто говорят об этом... Это что?.. Мы уезжаем в Кострому. Куда? Зачем?.. Я просил в губернии взвод улан, по крайней мере для защиты, для ограждения... они там смеются: какой, мол, взвод улан... Какой?! — крикнул он. — А знаете, как у моей свойственницы под Витебском, едва она уехала, как у неё всё понесли из дома? Кто? Ее же люди. Всё понесли, всё... Тут набежали и наши солдатики, может быть и те самые уланы, и вместе, всем миром, понесли ложки, вилки, зеркала, кресла, фарфор и фраки... Фраки-то им зачем? Не ваш ли гений в том повинен? — Он вновь заплакал. — А уж потом пришли французы, в пустом прекрасном ампирном доме переспали

СОДЕРЖАНИЕ

СВИДАНИЕ С БОНАПАРТОМ. <i>Роман</i>	5
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР. <i>Повесть</i>	281
СТИХОТВОРЕНИЯ	
Ночь после войны	349
«Шла девушка тропинкою лесной...»	350
На Тверском бульваре	350
Апрель	351
Подмосковье	352
Голубой шарик	355
Веселый барабанщик	355
Полночный троллейбус	356
Сентиментальный марш	357
«Не бродяги, не пропойцы...»	357
Песенка о солдатских сапогах	358
«Нева Петровна, возле вас — всё львы...»	359
Песенка про черного кота	359
«А как первая любовь — она сердце жжет...»	360
«Мне в моем метро никогда не тесно...»	361
«Ах ты, шарик голубой...»	361
До свидания, мальчики	361
Часовые любви	362
«На дне глубокого корыта...»	363
«Из окон корочкой несет поджаристой...»	363
«Неистов и упрям...»	364
«На мне костюмчик серый-серый...»	365
Весна на Пресне	365
«На арбатском дворе — и веселье, и смех...»	366
Арбатский дворик	367
«Магическое „два“. Его высоты...»	367

«Снится или не снится?..»	368
«...И когда удивительно близко...»	369
Живописцы	369
«Куда вы подевали моего щегла?..»	370
«Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя...»	371
Песенка о бумажном солдатике	371
Песенка о Фонтанке	372
Как я сидел в кресле царя	372
«Глаза словно неба осеннего свод...»	374
Песенка об открытой двери	374
Песенка об Арбате	375
Детство	375
Три сестры	376
«Горит пламя, не чадит...»	377
Московский муравей	377
Город	378
Осень в Кахетии	379
Дежурный по апрелю	380
«Тъмою здесь всё занавешено...»	380
Маленькая женщина	381
По Смоленской дороге	381
О кузнецах	382
«Берегите нас, поэтов, берегите нас...»	382
Песенка про дураков	383
Песенка веселого солдата	384
Песенка о Барабанном переулке	384
«Непокорная голубая волна...»	385
Чудесный вальс	385
Колыбельная	386
Песенка о старом, больном, усталом короле, который отправился завоевывать чужую страну, и о том, что из этого получилось	387
«Двадцатый век, ты — странный человек!..»	388
«Допеты все песни. И точка...»	388
Ночной разговор	389
Ленинградская музыка	390
Стихи без названия	390
Главная песенка	393
Мой карандашный портрет	393
Два великих слова	394
Храмули	395

В городском саду	396
«Нацеленный глаз одинокого лося...»	397
Аисты	397
Молитва	398
Март великодушный	399
Время	400
«Люблю я эту комнату...»	401
Фрески	402
«В чаду кварталов городских...»	405
Песенка о ночной Москве	405
Осень в Царском Селе	406
Письмо Антокольскому	407
«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...»	408
Песенка о художнике Пиросмани	409
Свет в окне на улице Вахушти	409
Песенка про маляров	410
Прощание с осенью	412
«Мгновенно слово. Короток век...»	413
Ленинградская элегия	414
Улица моей любви	415
Старый дом	415
Песенка о белых дворниках	417
«Надежда, белою рукою...»	418
«Осень ранняя. Падают листья...»	419
Фотографии друзей	419
Оловянный солдатик моего сына	420
«В детстве мне встретился как-то кузнецик...»	421
Капли Датского короля	422
Как научиться рисовать	423
Встреча	424
Грибоедов в Цинандали	425
Александр Сергеич	427
Прощание с новогодней елкой	427
Счастливчик Пушкин	429
«Мой город засыпает. А мне-то что с того?...»	430
Тиль Уленшпигель	430
Грузинская песня	431
Песенка о дальней дороге	432
Старинная студенческая песня	432
Путешествие по ночной Варшаве в дрожках	433

«Ваше благородие госпожа разлука...»	434
Божественное	435
Трамвай	436
Детский рисунок	437
Январь в Одессе	438
«Когда затихают оркестры Земли...»	439
Мастер Гриша	439
Арбатский романс	440
«Песенка короткая, как жизнь сама...»	441
Большая перемена (<i>Школьная песенка</i>)	442
«Немоты нахлебавшись без меры...»	442
Песенка о Моцарте	443
«Карандаш желает истину...»	443
«Здесь птицы не поют...»	444
«Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...»	445
Старый флейтист	446
Душевный разговор с сыном	447
«Долго гордая упряжка...»	448
Речитатив	448
Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину	449
Заезжий музыкант	450
А годы уходят, уходят...	451
Послевоенное танго	452
Батальное полотно	453
Кабинеты моих друзей	453
Весна	454
«А мы с тобой, брат, из пехоты...»	455
Лунин в Забайкалье	456
Чаепитие на Арбате	457
Я пишу исторический роман	460
Божественная суббота, или Стихи о том, как нам с Зиновием Гердтом в одну из суббот не было куда торопиться	461
Пожелание друзьям	462
Дом на Мойке	462
«В нашем старом саду, там, где тени густые...»	463
«Антон Палыч Чехов однажды заметил...»	463
«Не слишком-то изыскан вид за окнами...»	464
«Я маленький, горло в ангине...»	465
«Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены...»	467
«Не будем хвастаться, что праведно живем...»	467

«Красный снегирь на ионьюском суку...»	467
Сентябрь	468
Пиратская лирическая	468
«Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет...»	469
Еще один романс	470
Проводы у военкомата	471
«Впереди идет сержант...»	471
«Жизнь как будто ничего...»	472
Из фронтового дневника	473
«Давайте придумаем деспота...»	474
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве	474
«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...»	476
О Володе Высоцком	476
Полдень в деревне (<i>Поэма</i>)	477
Парижская фантазия	479
Автопародия на несуществующие стихи	479
Дорожная песня	480
«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел...»	481
Настольные лампы	482
«Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...»	483
Надпись на камне	483
«Как наш двор ни обижали — он в классической поре...»	484
Арбатские напевы	485
Музыкант	487
Песенка о молодом гусаре	487
Примета	488
«Красотки томный взор...»	489
Утро	490
«Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок...»	490
«Итак, я постарею...»	491
Памяти брата моего Гиви	491
«В юности матушка мне говорила...»	492
«Все влюбленные склонны к побегу...»	493
«Жаркий огонь полыхает в камине...»	493
Дерзость, или Разговор перед боем	494
«В день рождения подарок преподнес я сам себе...»	494
«После дождичка небеса просторны...»	495
Гимн уюту	496
«Век двадцатый явился спасателем...»	497
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнецк?...»	498

«Всё глупше музыка души...»	499
Дунайская фантазия	500
Мой почтальон	501
«В нашей жизни, прекрасной, и странной...»	501
«Гомон площади Петровской...»	502
Памяти Обуховой	503
«Восхищенность вашим сердцем, вашим светом...»	504
«Не сольются никогда зимы долгие и лета...»	504
«Всё забуду про тревогу...»	505
«Благородные жены безумных поэтов...»	506
Собачка	507
«Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал...»	509
Мой отец	509
«Старики умираТЬ не боятся...»	510
Письмо к маме	510
Работа	511
«Над площадью базарною...»	512
«На полянке разминаются оркестры духовые...»	513
«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?...»	514
«На полотне у Аллы Беляковой...»	514
Краткая автобиография	515
Мое поколенье	516
Воспоминание о Дне Победы	516
«По какой реке твой корабль плывет...»	517
«Мне не хочется писать...»	517
«Отчего ты печален, художник...»	518
«На Сретенке ночной надежды голос слышен...»	519
Звездочет	519
«Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!..»	520
«Клубничины сорваны с грядки...»	521
«Вот комната эта — храни ее Бог!..»	521
«Чувство собственного достоинства — вот загадочный инструмент...»	522
«На странную музыку сумрак горазд...»	523
«Проснется ворон молодой...»	523
«Пишу роман. Тетрадка в клеточку...»	523
Август в Латвии	524
«Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую...»	525
«Под крики толпы угрожающей...»	525
«Мой дом под крышей черепичной...»	526

«Мне нравится то, что в отдельном...»	526
«Становлюсь сентиментальным...»	528
Японская фантазия	528
Американская фантазия	529
Турецкая фантазия	531
«Мне всё известно. Я устал всё знать...»	532
«Мне не нравится мой силуэт...»	533
Несчастье	533
Из стихов генерала Опочинина 1812 года	535
«К старости косточки стали болеть...»	536
«...И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба...»	536
«В больнице медленно течет река часов...»	537
«В больничное гляну окно, а там, за окном, — Пироговка...»	538
«В земные страсти вовлеченный...»	538
«Восемнадцатый век из античности...»	539
«Ах, если б знать заранее, заранее, заранее...»	539
«Весь этот век, такой бесплодный...»	540
Нянька	541
Ад	542
Красный клен	543
«Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки и струны...»	543
«Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться...»	544
Подмосковная фантазия	545
«Осудите сначала себя самого...»	546
«Мерзляковский переулок...»	546
«Я тебя давно забыл — имя лишь запомнилось...»	547
«На улице моей беды стоит ненастная погода...»	548
«Власть — администрация, а не божество...»	548
«Ехал всадник на коне...»	548
«Два тревожных силуэта...»	549
«Мы — романтики старой закалки...»	549
Романс	550
«Вот и не стало снега...»	550
«Вот странный инструмент для созиданья строчек...»	551
Отъезд	551
«Меня удручают размеры страны проживания...»	552
«Давайте чашу высечем хрустальную...»	553
Перед витриной	553
В карете прошлого	554
«Малиновка свистнет и тут же замрет...»	559

Содержание

«Мне русские милы из давней прозы...»	559
«Хороша она или плоха...»	560
Обольщение	561
В альбом	561
«Да, старость. Да, финал. И что винить года?..»	562
«Как улыбается юный флейтист...»	562
«Через два поколения выйдут на свет...»	563
«Совесть, Благородство и Достоинство...»	564

Окуджава Б.

О 52 Малое собрание сочинений / Булат Окуджава. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. — 576 с.

ISBN 978-5-389-20181-1

Булат Окуджава — автор известных песен и стихов, таких как «Веселый барабанщик», «Полночный троллейбус», «Сентиментальный марш», «Часовые любви», «Капли Датского короля» и многих других. Булат Окуджава — автор замечательной прозы, не уступающей в своей музыкальности его стихотворному дару.

В настоящем издании представлены разнообразные творческие вершины Булада Окуджавы: собрание лучших стихотворений, исторический роман «Свидание с Бонапартом» и знаменитая повесть «Будь здоров, школьарь».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44+5

Литературно-художественное издание

БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Виктория Манацкова

Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Светлана Федорова, Ирина Киселева,
Маргарита Ахметова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 04.10.2021. Формат издания 60 × 90 $\frac{1}{16}$.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 36. Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-AMS-28997-01-R